

Письмо Лидии Чуковской Давиду Самойлову 15.1.1975

«Всё тот же спор»¹

Для того чтобы был понятен смысл данной публикации, немного об истории вопроса. Д. С. излагает ее коротко:

«Новый год у нас. Крамовы², Игорь Виноградов с женой³, Л. К.

Сперва хорошо. Потом я напился. Инцидент с Ал<ександром> Ис<аевичем>»⁴.

15 января 1975 года Л. К. написала письмо Д. С., где изложила свою точку зрения на «новогодний всплеск». Оригинал его утрачен, скорее всего, выкраден из архива Д. С. Подготавливая к печати книгу «Давид Самойлов. Лидия Чуковская. Переписка. 1971 — 1990»⁵, мы вынуждены были сделать примечание: «Это письмо не сохранилось».

Но уже после выхода книги Е. Ц. Чуковская нашла в своем архиве черновик письма. Насколько мне подсказывает память, он достаточно адекватен письму, посланному в свое время к Д. С. Мы решили напечатать этот черновик, полагая, что характеристика А. И. Солженицына как человека, данная Л. К., выходит за рамки личных отношений и принадлежит истории литературы и общественной мысли второй половины XX века. Уже тогда, в 1975 году, была очевидна ее общезначимость: в сущности, это первый мемуар о великом человеке, герое нашего времени. Сам по себе текст не нуждается ни в объяснении, ни в комментариях: тут и причины, и необходимость его появления на свет. Нежная, горячая, отзывчивая душа Л. К., высокое понимание дружбы как долга и правды как обязанности сквозят и светятся в каждой строчке этого документа.

Благородным порывом защитить одного своего друга от хулы другого, однако, не исчерпывается ни посыл, ни уж тем более источник несогласия между ней и Д. С. в оценке А. И. Солженицына. Без этого имени в те годы редко обходилось любое интеллигентское толковище. По какому бы поводу ни собрались, солженицынская тема возникала неизменно, порождая большой накал страстей. Не могли миновать ее и Л. К. с Д. С. при своих регулярных встречах. Краткие дневниковые записи Д. С. доносят живое дыхание давно умолкнувших речей:

«Были с Галей у Лидии Корнеевны. Читал ей половину письма Солж<еницы>ну⁶.

Она огорчена, но не может не оценить правоты. Просит лишь подчеркнуть, что я не сомневаюсь в его чувстве чести»⁷.

«Приезжала Л. К. Разговоры о Солженицыне. Несмотря на ее обожание — рассказ о характере жестком, рациональном. Вилы за шкафом⁸.

С такой властью такой только и может тягаться»⁹.

«Приезжала Л. К. Долгий разговор о Солженицыне. „У него характер немецкий“.

При всем восхищении этот характер ей чужд»¹⁰.

«Дописал „Струфиана“ и читал его несколько раз — Храмову¹¹, вечером — Л. К.

Первая ее мысль — не печатать.

© «Новый Мир» 2006, №6. Публикация и подготовка текста Е. Ц. Чуковской.
Вступительная статья Г. И. Самойловой-Медведевой

© «Im Werden Verlag». Некоммерческое электронное издание. Мюнхен. 2006
<http://imwerden.de>

Потом объективность поборола любовь к А. И.»¹².

Налицо — определенное постоянство смыслового и эмоционального фона много лет длившихся бесед. Оба собеседника повязаны собственным человеческим материалом и собственным же осуществлением. Что естественным образом создает для каждого из них зону пристрастий. К тому же они и смотрят с разных сторон. Если для Л. К. отношение к Солженицыну — вопрос веры, то для Д. С. — убеждений.

Характер Александра Исаевича вовсе не так однозначно чужд Л. К., как хотелось бы думать Д. С., сдвигая тем самым чашу весов в свою пользу. Героическая сторона натуры самой Л. К. помогает ей слышать сердцем те же самые начала в Солженицыне лучше и чище, чем кому-либо другому. Ей хочется сохранить для себя внутренне цельный образ отважного борца с режимом (она сама человек цельный), несмотря на попытки Д. С. расчленить этот образ на три ипостаси (подвиг, писательство, проповедь) и подвергнуть анализу.

Пародируя в поэме «Струфиан» солженицынское «Письмо вождям Советского Союза», Д. С. не ожидал от Л. К. аплодисментов, но на понимание рассчитывал: ведь Л. К. из редкой породы людей, кто способен откликаться и звону меча, и звуку лиры. Знала она и то, что, по слову Мандельштама, «в черном бархате советской ночи всё цветут бессмертные цветы», и эти цветы были ей не менее дороги, чем борьба против их удушения и затаптывания. И не считала, что всякая творческая личность должна стремиться «в стан погибающих» (ни одновременно со своим делом, ни вместо него). Когда Д. С. ей признался: «Вообще же нарастает желание уйти из литературы <...> Из этой литературы»¹³, Л. К. ответила так: «Не решайте ничего, ради Бога, живите снегами, детьми, рифмой, весной. А решение — если оно вообще нужно — придет само»¹⁴.

Во мнениях о Солженицыне они, как параллельные линии, никогда не сходятся. Но продолжают диалог.

Пока Д. С. реагирует как художник, он полностью смыкается с Блоком, с его характеристикой Катилины в одноименной статье, имеющей расширительное, а то и всеобщее значение: «Он имел несчастье и честь принадлежать к числу людей, которые „среди рабов чувствуют себя рабами“. Многие умеют говорить об этом красноречиво, но почти никто не подозревает, какой простой и ужасный строй души и мысли порождает такое чувство <...> когда оно наполняет все существо человека; — едва начнут подозревать, как уже с отвращением и презрением отшатываются от таких людей»¹⁵.

Критический взгляд, однако, не исчерпывается констатацией чужеродности революционистского сознания и противопоставленности его хрупкой и тонкой поэтической скорлупе. Замыкание в ней не было Д. С. свойственно. Он пытливо и упорно размышлял об интересах общества и судьбе страны, в том числе и в связи с миссией Солженицына («который и по-человечески и по воззрению мне необычайно далек»¹⁶). И спорил с Л. К., которая «отдает ему монопольное право на русскую совесть»¹⁷:

«Можно ли накладывать табу на проблему столь жгучую, как проповедь А. И.? <...> Кто осмеливается судить о мыслях героя, тот мещанин, „комфортник“. <...>

Человек, однажды совершивший подвиг, приобретает не только права, но и обязанности. Жаль, если нам, сырым, приходится ему об этом напоминать»¹⁸.

На встрече Нового, 1975 года, вызвавшей бурную и гневную реакцию Л. К., спора как такового, в сущности, не было. Солировал в основном Д. С., повторяясь и распалая себя до резких выражений, особенно неуместных в присутствии Л. К., зная ее повышенное, а то и восторженное отношение к Солженицыну.

Л. К. перестала встречать Новый год с 1938 года, с тех пор как арестовали, а затем убили ее мужа. И много раз настаивала, что так оно и будет до конца ее дней. А тут мы ее уговорили нарушить самозапрет и приехать к нам, и она не сразу, но согласилась.

Какая она была нарядная, оживленная, милая, ласковая, с какой изящной простотой держалась и принимала почтительное уважение окружающих. Праздничное очарование Л. К. и общая благорастворенная атмосфера дали первый толчок к тому, что произошло дальше. Д. С. тоже размягчился, но на свой лад, не отвлекаясь от себя: это с какой же стати хорошая, и очень хорошая, Л. К. дарит вниманием всех подряд, а не его одного, когда ему оно — нужнее. И перенаправил воздушные потоки «в сторону Дезика». «То, что тайно живет в подсознание», непосредственность соединительного чувства вырвалась наружу, не успев облечься в подобающие одежды. Парадокс: столь заземленный уровень разговора меньше всего занимал его самого. Он предпочитал оперировать понятиями, а не фактами. Интонирование на разные лады мучительных для Л. К. слов (звучали горечь, сожаление, сарказм, тоска и Бог знает что еще) давало, однако, понять, что это лишь первый слой палимпсеста, опознавательный знак внутренней бури, обычно державшейся на замке.

При ледяной и леденящей отдельности Д. С. от всего, что не он, поведенческая его парадигма была структурирована довольно четко. Благодушная снисходительность к публике, чья главная задача — быть. Для друзей и приятелей разного сорта и толка — элегантный, прицельно отточенный самопоказ вкупе с летучей, ускользающей черствостью невникновения в другого. И — море пристрастия и гнева по отношению к тем немногим (пальцев одной руки хватит, чтобы перечесть за всю протяженность жизни), кто был допущен и стоял близко от вулканического эпицентра существования — поэзии. Тут кипела настоящая, вполне истребительная война со своими зеркалами. Не с собою же ему было сражаться, исповедуя ахматовскую формулу «поэт всегда прав» буквально, как символ веры. Один из военных эпизодов и пришелся на долю Л. К. Она, конечно, поняла, что в агрессивной форме содержится тревожное оповещение о трудностях собственного пути и нечто вроде мольбы о поддержке и что сигнал послан именно ей, через головы других людей. К другим была обращена театральная часть представления: выпил, растормозился и, как водится, резанул правду-матку, не без агитационного момента. Л. К. молчала. Можно только догадываться, чего это ей стоило. Но, выверив реакцию на сказанное (а невысказанное оставив таковым), она про публикуемое нынче письмо просила: «Но Вы, если случится, покажите его тем из Ваших друзей, которые слышали Ваш монолог. Я не вправе оставить Ваши слова безответными».

Д. С. отвечал:

«Дорогая Лидия Корнеевна! Простите, что я так огорчил Вас, что испортил Вам вечер, в который искренне хотел Вас развлечь. Мне очень стыдно некоторых слов, которые были произнесены в запале. Я, конечно, не совсем так думаю.

Мне жаль еще и Ваших глаз, потраченных на письмо мне, и Вашего времени. <...>

Ужасно думать, что тот разговор встанет стеной между нами»¹⁹.

Останавливает внимание фраза: «Я, конечно, не совсем так думаю». Что он продолжает думать именно так, вернувшись на привычный идеологический уровень, подтверждает следующая запись:

«Солженицын неминуемо должен породить новый тип писателя: властитель хамских дум, божьей милостью хам.

Поэт Ю. Кузнецов²⁰ — первая ласточка.

Хамы милостью божьей»²¹.

Но и по-другому:

«Личные свойства А. И., его писательское дарование и его значение для развития нельзя путать. Он первый сильно и без обиняков сформулировал перед полународом, в который превратилась русская нация, задачу вновь сформироваться в народ. С какой-то стороны это задача первостепенная, как бы плохо она ни была сформулирована...»²²

Л. К. стоит на своем: «Обсуждать, плох ли, хорош А. И. С., я не стану. Меня своим появлением в мире и присутствием в моей жизни он одарил несравненно. Я — вдова 37 года. Хорош ли, плох — молчу. Для меня хорош»²³.

Этот лейтмотив послания, его чистую, трагическую ноту хочется оставить неприкосновенными.

О других ракурсах взгляда. Там есть один момент, который, помню, удивил меня и тогда, в 1975 году, при первом чтении. И сейчас — через столько лет — впечатление не изменилось — от несвойственных писателю слов Л. К. лексических оборотов: «Разговаривал ли он с хозяйкой дома? Лясы не точил, не балакал, не калякал ни с кем...»²⁴

Чем-то исконно-посконным повеяло от этих строк. Быть может, и в ее подсознании Д. С. своей эскападой сдвинул какие-то пласты и направил их «в сторону Александра Исаевича»?

Определив для себя рамки письма темой «Солженицын в повседневной жизни» (в строгом симметрическом соответствии с выпадами Д. С.), Л. К. все-таки не удерживается в этих рамках — ей просто необходимо, и по темпераменту, и по чувству справедливости, подчеркнуть, как ей видится масштаб Солженицына-писателя. Выворачивая наизнанку значение слова «супермен», какое придал ему Д. С. (у него речь шла о позиционировании себя во внешнем мире), Л. К. как опытный полемист обращает его не просто в похвалу, но в настоящую осанну Александру Исаевичу: «„Супермен“... Да, сверхмощь, да, конечно. Он взвалил на себя одного и выполнил одну работу, которую выполнить были обязаны 2 — 3 поколения литераторов. Для этого нужны были сверхсилы и соответственно постоянная душевная и физическая тренировка <...> он же работал по 14 часов ежедневно в любых условиях».

Фанатическое поклонение труду (еще одна черта, роднящая Л. К. и Солженицына) вряд ли могло впечатлить Д. С. Сам немало написавший, а уж напереводивший — гору, он едва ли не более рабочих усилий ценил просторную, плодоносную поэтическую лень («О Дельвиг, ты достиг такого ленью, чего трудом не каждый достигал»).

Следующий отрывок, который просится быть замеченным, — с разворотом «в сторону Л. К.» и необычайно важного момента ее биографии:

«Когда меня исключали из Союза, он, как я узнала позже, не только сам протестовал (по радио), но и провел за моей спиной некую мобилизацию. После Секретариата ждал меня у нас на даче.

— Ну, рассказывайте.

Я рассказывала бессвязно.

Дорассказала до того места, где у меня из рук падают бумаги.

— И никто не поднял?

— Нет.

— Вы знаете, я не умею плакать. Но если бы я умел, я бы сейчас заплакал. Никто не поднял?

Тут чуть не заплакала я, но, к счастью, удержалась».

Очень мощный эпизод, беспроектно бьющий по нервам и ожидающий для анализа писателя уровня и типа Достоевского: два несгибаемых борца оплакивают расчеловечивание функционеров. А — избежать психической травмы? А — не ходить на несправедливое судилище? Невозможно: логика борьбы требует не уклоняться, разоблачать, предавать огласке. И писать «Процесс исключения».

У Д. С. эта часть рассказа Л. К. записана в иной тональности: «Что это за мужчины! Скоро не будет от кого рожать детей! Не подали мне стула и не подняли бумаги, которые я уронила»²⁵.

Пафос презрения звучит здесь не случайно — одним из этих мужчин был С. С. Наровчатов, друг Д. С. с ифлийских времен. Он председательствовал на том заседании секретариата Союза писателей, где исключали Л. К.

Еще она сказала: «Последний раз я видела Вашего друга в этой комнате, при жизни Анны Андреевны, когда редактировали письмо в защиту Бродского»²⁶. Значит, не родился душителем и гонителем, а стал им? И джентльменские реверансы — не для вражеского элемента? Тоже логика — на сей раз паденья, и тоже персонаж для романа, и не из самых простых. Ведь именно незаурядная и очень мужская натура (физическая смелость и удаль, жажда первенства во всем) толкнула Наровчатова во власть, так как стать поэтом номер один не получилось.

Д. С. хотел знать о деталях поведения Наровчатова, но ничего ему не предъявил, как напрашивалось из сообщения Л. К. Это означало бы разрыв с памятью о молодом поэтическом братстве и не только с ней. «Нашими исповедями были идеи. Исторические масштабы мыслей и понятий всегда увлекали Сергея, — пишет Д. С. в „Попытке воспоминаний“ о Наровчатове. — В этих масштабах несущественными были мелкие извилины личных путей. Их можно было воспринимать со снисходительной иронией, как забавные игры АБСОЛЮТА, то есть исторического закона»²⁷.

«Все тот же спор» между Л. К. и Д. С. постепенно склонился к более плавному течению. И к чувству историзма. Д. С. отрицает нападки на Солженицына там, где Л. К. готова их усмотреть:

«Я писал о клоповщине²⁸, чисто русском явлении, о той вере, что они не знают, а им можно что-то объяснить. И удачливый пример Клопова доказывает, что объяснить ничего нельзя, что история идет своим путем, что поезд тронется и раздавит всех действующих лиц. Пьеса безнадежная. И мне грустно, что Вы не поняли этой безнадежности, а увидели полемику с ним²⁹, с которым я полемики не хочу. Мое мнение о нем Вы знаете, оно не изменилось»³⁰.

Последний раз имя Солженицына прозвучало в самом последнем письме Д. С. к Л. К.:

«Пора разумным людям соединить воедино два проекта — Сахарова и Солженицына. Я прежде недооценивал конструктивные стороны плана А<лександра> И<саевича>»³¹.

Какие именно — осталось недоговоренным. Но для отношений между Л. К. и Д. С., где доминировала все-таки художественная часть («пасти народы», по выражению Н. Гумилева, они не намеревались), эта сторона касательная.

Гораздо важнее другое, совсем недавнее напоминание из уст самого Александра Исаевича³². При всем глубочайшем уважении, при склоненной перед его гражданским подвигом голове нельзя не заметить, что статья написана мимо цели — поэзии как таковой. Частный случай — творчество Самойлова — лишь подчеркивает эту вне-находимость в поэтическом пространстве. Д. С. будто спрогнозировал-спровоцировал именно такое о себе сочинение. Как в воду глядел. А что бы, интересно, сказала Л. К., называвшая Д. С. «дорогой товарищ классик»³³? Хорошо, что на сей раз ей не пришлось огорчаться. И лечиться от огорчения словами любимого Герцена — ими и закончу:

«В мире ничего нет великого, поэтического, что могло бы выдержать не глупый, да и не умный взгляд, взгляд обыденной, жизненной мудрости.

Попадись нищему лошадь, как говорит народ и повторяет критик „Вестминстерского обозрения“, — он на ней и ускачет к черту»³⁴.

¹ Реплика Д. С. после одного из разговоров о Солженицыне с Л. К. (См.: Самойлов Давид. Поденные записи. Т. 2. М., «Время», 2002, стр. 93. Запись от 15 декабря 1975 года. Далее — ПЗ).

² Крамовы — Ржевская Елена Моисеевна (род. в 1919), прозаик, и ее муж Крамов Исаак Наумович (1919 — 1979), критик.

³ Виноградов Игорь Иванович (род. в 1930) — критик, в настоящее время главный редактор журнала «Континент», и его жена Нина Васильевна.

⁴ ПЗ, 1 января 1975 года, стр. 84.

⁵ М., «Новое литературное обозрение», 2004. Далее — «Переписка».

⁶ Письмо, посвященное анализу романа «Август Четырнадцатого», впоследствии получило название «Вопросы»; это первый раздел солженицынских штудий Самойлова. Под общим заглавием «Александр Исаевич» они вошли в книгу прозы Д. С. «Памятные записки» (М., «Международные отношения», 1995, стр. 396 — 414).

⁷ ПЗ, 7 января 1972 года, стр. 60.

⁸ Когда Солженицын жил в Переделкине в доме Чуковских, он держал у себя в комнате вилы на случай физического нападения со стороны агентов КГБ.

⁹ ПЗ, 20 февраля 1974 года, стр. 73.

¹⁰ ПЗ, 14 апреля 1974 года, стр. 77.

¹¹ Храмов Евгений Львович (1932 — 2001) — поэт.

¹² ПЗ, 26 ноября 1974 года, стр. 82.

¹³ «Переписка», конец февраля 1978 года, стр. 55.

¹⁴ Там же, 30 марта 1978 года, стр. 67.

¹⁵ Блок А. Сочинения в двух томах, т. 2. М., 1955, стр. 272.

¹⁶ ПЗ, 3 июля 1974 года, стр. 81.

¹⁷ ПЗ, 22 ноября 1975 года, стр. 92.

¹⁸ «Переписка», 14 декабря 1975 года, стр. 37.

¹⁹ «Переписка», 19 января 1975 года, стр. 31.

²⁰ Кузнецов Юрий Поликарпович (1941 — 2003) — поэт.

²¹ ПЗ, 27 апреля 1976 года, стр. 97.

²² ПЗ, 18 июня 1979, стр. 128 — 129.

²³ Письмо Л. К. от 15 января 1975 года, публикуемое ниже.

²⁴ Там же.

²⁹ С А. И. Солженицыным.

³⁰ «Переписка», 2 сентября 1981 года, стр. 176.

³¹ Там же, 10 февраля 1990 года, стр. 86.

³² Солженицын А. Давид Самойлов. Из «Литературной коллекции». — «Новый мир», 2003, № 6, стр. 171 — 178.

³³ «Переписка», 23 ноября 1980 года, стр. 151.

³⁴ Герцен А. И. Былое и думы. Т. 3. М., 1982, стр. 168.

Л. Чуковская — Д. Самойлову
15.1.75

Дорогой Давид Самойлович.

Сидя на председательском месте за своим добрым новогодним столом, Вы сказали (цитирую дословно), что А. И. Солженицын:

человек плохой

Пауза

да, самый лучший человек России — человек плохой

Пауза

пло-хой че-ло-век

Пауза

неблагодарность как принцип жизни

Пауза

плебей и хам

Пауза

жил в доме и не разговаривал с хозяйкой дома

Пауза

супермен

Пауза

плебей и хам

Каждый волен говорить и думать о чем угодно, о ком угодно что угодно. В том числе и Вы о Солженицыне. В особенности сейчас, когда он благополучен, превознесен, богат и наконец в безопасности. Теперь уж и выбрать его не грех. Но в Вашей брани одна фраза имеет опорой сведения, исходящие будто бы от меня, а этого я допустить не могу. Неправда, злая неправда.

А<лександр> И<саевич> С<олженицын> лет восемь периодически жил в двух домах — в Переделкине и в городе, — которых я могу считаться хозяйкой. Значит, это у нас на даче и у нас в городе он расположился, как плебей и хам, и это со мною, хозяйкой дома, будто бы не разговаривал?

Вы меня в ту минуту точно по голове стукнули, я потерялась и не ответила, как следовало. А за столом сидели люди, у которых сведений о домашней жизни А. И. С. нет и быть не может. Один из них очень благородно сказал, что ведь и Лев Николаевич и Федор Михайлович тоже были, кто их там знает, хорошие ли люди? Выходило так, будто где-то кем-то уже установлено: А. И. С. человек плохой, неблагодарный, неблагородный, но окажем ему снисхождение: он имеет заслуги.

Обсуждать, плох ли, хорош А. И. С., я не стану. Меня своим появлением в мире и присутствием в моей жизни он одарил несравненно. Я — вдова 37 года. Хорош ли, плох — молчу. Для меня хорош. Да и не берусь я писать сочинение на тему: “А. И. С. как человек”; я недостаточно глубоко и близко знала его. Но обязана Вам, судьбе, представить свои показания: “А. И. С. как жилец”.

У нас в доме (за исключением людей, дому нашему чужеродных и трусливых) А. И. С. преданно и нежно любили все: начиная с К<орнея> И<вановича> и кончая городской домработницей, тетей Марусей, которая не в силах была запомнить его имени и называла так: “кто по улице не ходит, а бежит” или “кому всегда обедать некогда”. Ее дочь открыла ей в 74 г. глаза на этого изменника родины. “Как же ты, мама, не знала?” Тетя Маруся ответила: “Неправда, Зинка, он хороший”.

Он ни разу не позволил ей выстирать себе рубаху. А если увидит с кошелкой во дворе — повернет и донесет тяжесть до лифта.

В нашей городской квартире он поселился в крошечной комнате возле кухни в пору разгрома “Нового мира” и начала преследований его самого. М<ожет> б<ыть>, несколько ранее. Жил тайком, мы о нем — никому; по нашему телефону он не говорил, чтоб не выдать себя и нас, бежал с монетками к автоматам, встречи назначал в скверике. Потом у него конфисковали архив — как раз в это время К. И. пригласил его к себе на дачу. Ал. Ис. и тут жил своей, отдельной, самостоятельной жизнью, избегая общих посиделок и разговоров, но К. И. сразу зауважал его необычайно — за многочасовость и неотступность труда. Жил Ал. Ис. внизу в светлой большой комнате, окнами в сад, но если К. И-чу случалось уезжать в Барвиху, он требовал, чтобы Ал. Ис. занимал его кабинет наверху, его стол: “тут удобнее... тут балкон... тут спокойнее... тише”. Помню, меня это всегда поражало, потому что писатели обычно не любят, чтобы в их отсутствие кто-нибудь работал у них за столом, среди их книг, писем, бумаг. Но Ал. Ис. как-то сразу внушал уверенность, что ни одна книга не окажется валяющейся на диване, ни один листок не будет стронут. Я никогда не видела человека, в такой степени умеющего сочетать полную независимость от чужого с полным уважением к чужому. Он покорял окружающих, но не угнетал их.

Мои показания в данном случае особенно важны. Я ведь контуженая и как ни стараюсь, приспособиться не могу ни к кому и ни к чему. И никто — ко мне. Если ломаю себя для чужого уклада, то кроме очередной болезни из этого не выходит ничего. (Поезд, больница — исключены.) В частности, не могу жить вместе ни в одной комнате, ни в смежной *ни с кем*. Не могу и помнить о сне: а вдруг сосед скрипнет дверью? Не могу писать. Не могу читать. Располагая огромной двухэтажной дачей, К. И. вынужден был в 55 г. выстроить для меня в лесу отдельную избушку: иначе мне мешали все и я — всем. В Переделкине отдельный домик, а в городе нас с Л<юшей>¹ двое в 4-комнатной квартире, и между мною и ею — пустое пространство, столовая...

В городе у нас А. И. жил возле кухни, по ту сторону столовой и передней, чтобы я ничего не слыхала. Там и друзей принимал — на 5 м<етрах>, вместо 20 пустующих. Чтобы не мешать мне. Зато, когда я один раз, зная, что он лег спать (он ложился рано), заговорила в передней, провожая гостью, чуть понизив голос, — утром он мне заметил: — Что же это вы из-за меня неполным голосом говорите! Я мешаю вам жить, как вы привыкли? Значит, стесняю вас?

Меня стеснять он не желал. И научился — *не*.

Последние 3 месяца жизни в России А. И. С. почти сплошь провел в Переделкине, на даче, в *смежной со мною* комнате. Напряжение, скажу я Вам, для жильца тяжелейшее. Там умели жить до него 2 человека: Л<юша>, Фина², и вот научился третий: А. И. С. Стенка смежная, а жить надо так, чтоб ничем не двинуть, не скрипнуть; чтоб я ничего не слыхала; вечером — не усну; утром — от любого скрипа проснусь с сердцебиением; днем любой звук мешает мне работать. К этому режиму А. И. приспособился с первого же часа.

Я никогда не слышала, дома ли он: ходила в переднюю поглядеть — висит ли пальто? Радио слушал он и по телефону говорил только из ванной — т. е. за четырьмя дверьми от меня. Согласился переехать к нам на таких условиях: мы ему выделяем полочку в холодильнике и полочку в буфете, и он все делает для себя сам: стряпает, моет посуду и пр. Зато для нас он делал очень многое: расчищал снег возле дома, выносил мусор, тесал покосившиеся двери, чинил форточку. За все три месяца, что мы прожили вместе, у него 3 раза были друзья; все 3 раза в мои городские дни; и, конечно, для того, чтобы я не слышала из его комнаты голосов, которые помешали бы мне работать.

Сколько забот видела я от него за эти годы! Доктор велел мне ходить в городе ежедневно минут 30, а дом наш стоит на горе. Я не выношу подъемов.

А. И. разработал для меня особый маршрут — по внутренним дворам — так, чтобы почти без горок. В Переделкине он часто ездил со мною на могилу К. И.; вверх — машина, а вниз надо идти самой, по узким оледенелым тропкам между оградами. Такого внимательного спутника я никогда не знала: он предусматривал каждый мой шаг.

“Супермен”... Да, сверхмощь, да, конечно. Он взвалил на себя одного и выполнил один работу, которую выполнить были обязаны 2 — 3 поколения литераторов. Для этого нужны были сверхсилы и соответственно постоянная душевная и физическая тренировка. Я выросла среди людей много и одержимо работающих — Репин, К. И., Маршак, — но они знали нужду только в молодости, он же работал по 14 часов ежедневно в *любых* условиях: я видела его и бедняком, и бездомным, и богачом, и гонимым, и лауреатом, и одиноким, и семейным. Сквозь все, всегда 14 часов в сутки писал; из них 4 — на воздухе, в любую погоду; в последнюю зиму на морозе расхаживал у нас в лесу от забора до забора с книгой в руке.

— Ал. Ис., вам не надоедает 4 часа по одному месту?

— Ничего, я на шарашке привык.

Да, сверхсилы, сверхволя. Супермен. В прошлом году зимою я заметила, что он ходит по дому так: одна нога босая. Оказалось, натер ногу; сине-желто-красная гноящаяся рана над пяткой. Я ему посоветовала хоть носок надеть: дуло с полу. Он ответил: “И носок — больно”. А через час я застала его в передней, обутом, одетым и с чемоданом — тяжелейшим — в руке. Едет в город; заболел младший мальчик. Страшно было вообразить, что он на *эту* рану натянул сапог. Потащил чемодан, хромя. Я пожелала ему встретить на шоссе такси.

— Незачем. Все равно не сяду.

— Почему?

— Решил не приучать себя к такси.

Заковылял к воротам, качаясь.

В это время он уже был миллионером. Скупость? Нет. Тренировка... Меня он осыпал подарками: когда-то были конфеты и записные книжки, а в пору богатства пошли — диктофон, линзы и пр. заграничное. На моих глазах он выискал в Переделкине две полунищие рабочие семьи и регулярно помогал им деньгами и теплыми вещами. (Они, так же как и наша тетя Маруся, не знали, кто он, — думали, истопник.)

Супермен? Да, сверх-мощность, сверх-честь. Пока он беззвучно жил за моей тонкой стеной, я чувствовала себя и свой дом и свой образ жизни под защитой сверхмощного танка. Казалось бы, не от кого меня было и спасать, но пока горел свет у него в окне, я знала: со мной ничего не случится. И каждому человеку желаю я встретить своих предполагаемых и ожидаемых убийц с таким величием и надменностью, с какой А. И. С. при мне встретил своих. 9 февраля днем они явились к нам на дачу под видом инженеров; обошли со мною дом; когда вошли к нему в комнату, он не поднял головы от бумаги и продолжал читать. Ушли; я их проводила до ворот; у ворот торчали двое, а за углом машина...

Он спросил меня:

— Вы поняли, кто это был?

— Конечно.

— А как ваше сердце?

— В порядке.

— Нет, у вас посинели губы.

И пошел капать мне капли “скорая помощь”.

(Взяли его через 3 дня, в городе, на квартире жены. К счастью, не при мне.)

Супермен? Да, супермен не только в труде и бесстрашии, но и в деликатности.

Однажды вдруг постучался ко мне в комнату:

— Простите меня.

— Что такое?

— Вы всегда вешаете свое пальто на 1-й крюк в передней, а я сегодня забыл и повесил туда свое.

— Да ведь на вешалке 7 крючков! А нас двое! Не все ли равно?

— Нет, ведь вы плохо видите и привыкли на первый. Простите.

Один раз на моих глазах А. И. собрался в Крым, куда пригласила его какая-то старушка-поклонница. У нее там домик в три комнаты и сад. Он собрал бумаги, книги, весело уехал — на месяц. А вернулся через 5 дней.

— Что так?

— Она вообразила, что я буду возвышенно трудиться за столом, а она готовить мне обед и мыть за мной посуду. Я удрал.

Таков был этот плебей и хам в быту — насколько мне выпало на долю наблюдать его.

Однако, при всем при том, *разговаривал ли он с хозяйкой дома? когда этой хозяйкой бывала я?*

Как правило, разговаривал или молчал в зависимости от того, выполнены ли уроки. Если нет — скороговоркой на бегу, на ходу. И, живя рядом, постепенно — отнюдь не сразу — я и сама научилась не изображать из себя “хозяйку” и не занимать гостя разговорами. Заметила я, например, что, придя откуда-нибудь (а у него всегда были от наших дверей ключи), он, скинув в передней шапку и куртку, буквально бросается к столу: что-то “с пылу, с жару” записывает. И не следует в эти минуты, пока он не “отбомбился”, расспрашивать его или вообще ввязываться. (Думаю, кроме работы над романом, он еще вел ежедневные записи, делал “моментальные снимки”.) Если же у него все уроки были выполнены и еще не пора спать (ложился в 9), он приходил со мною говорить — просторно, сердечно — и меня слушать. (Я читала многие его рукописи; он удивительно *слушал* замечания — с интересом, охотой, жадностью.) Говорил он и на просторе немногословно, с большою точностью, без риторики и преувеличенных чувств. (А на прощание всегда крепко меня обнимал: увидимся ли еще?) Говорил всегда в поисках точного соответствия слова — чувству. Беллетристику мою он не жаловал; “Ахматову” ценил высоко; некоторые “открытые письма” тоже, а когда прочел — у Л<юши> мое “Не казнь, но мысль”³, вошел внезапно ко мне в комнату и сказал: — Это для меня необходимое, как мое. Дайте экземпляр, я буду распространять наравне со своим.

И распространил десятки экземпляров.

...Разговаривал ли он с хозяйкой дома? Лясы не точил, не балакал, не калякал ни с кем... И со мною *не*. Но в этот день хозяйка дома почему-то записала у себя в дневнике: “Сегодня я получила орден”...

Когда меня исключали из Союза, он, как я узнала позже, не только сам протестовал (по радио), но и провел за моей спиной некую мобилизацию. После Секретариата ждал меня у нас на даче.

— Ну, рассказывайте.

Я рассказывала бессвязно.

Дорассказала до того места, где у меня из рук падают бумаги.

— И никто не поднял?

— Нет.

— Вы знаете, я не умею плакать. Но если бы я умел, я бы сейчас заплакал. Никто не поднял?

Тут чуть не заплакала я, но, к счастью, удержалась.

Письмо мое бестолково, п<отому> ч<то> пишу я лежа: у меня грипп. Вообще-то я никому показывать его не буду, п<отому> ч<то> Москва слишком лакома до сплетен. Но Вы, если случится, покажите его *тем из Ваших друзей, которые слышали Ваш монолог*. Я не вправе оставить Ваши слова безответными. Вообще-то мнения о книгах или идеях А. И. С., самые отрицательные, меня не ранят, не задевают даже. Да и о нем самом: пожалуйста. Но я — хозяйка дома, где жил Солженицын. Это обязывает. К правде.

Любящая Вас

Л. Чуковская.

15/1975.

Посылаю сборник, в котором статья моего друга о Елочке⁴. Если статья К. И. уже не нужна Вам — верните, а нет, пусть живет у Вас. Надеюсь, в Малеевке Вы отдохнули и грипп миновал семью Вашу. Г. И.⁵ привет.

Сохраните это письмо.

¹ Люша — Елена Цезаревна, дочь Л. К.

² Фина — Жозефина Оскаровна Хавкина, многолетняя помощница Лидии Корнеевны.

³ “Не казнь, но мысль. Но слово. (К 15-летию со дня смерти Сталина)”. — См.: Чуковская Лидия. Сочинения. В 2-х томах, т. 2. М., “Арт-Флекс”, 2001, стр. 513 — 519.

⁴ О чем идет речь, установить не удалось.

⁵ Галина Ивановна Самойлова-Медведева.